

Михаил Салтыков-Щедрин

# Уличная философия



# Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

## Уличная философия

*Текст предоставлен правообладателем.*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3133395](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3133395)

### Аннотация

Статья представляет собой одно из значительных выступлений Салтыкова в защиту революционной молодежи от так называемой «антинигилистической» критики; была отмечена цензурой в годовом обзоре как «предосудительная» и как характеризующая направление «Отечественных записок». Так как изображение «нового человека» – Марка Волохова – в романе Гончарова «Обрыв», по существу, смыкалось с тем представлением о революционерах, которое насаждала «антинигилистическая» литература, Салтыков посвятил свою статью преимущественно этой теме. В письме к Некрасову 22 мая 1869 г. Салтыков сообщал, что написал статью «по поводу «Обрыва», то есть не касаясь собственно романа, а философии Гончарова». Речь в статье идет о трех основных проблемах, решение которых объясняет салтыковскую оценку произведения Гончарова: 1) об отношении творчества писателя к его мировоззрению, 2) об отношении общества к прогрессу, в частности – к развитию передовой философской и естественнонаучной мысли, 3) о роли крупнейших литераторов 40-х годов в современном общественном движении.

# Содержание

Примечания  
Комментарии

65

# Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Уличная философия

*УЛИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (По поводу 6-й главы  
5-й части романа «Обрыв»)*

Если вам случается, читатель, слышать в так называемом обществе, с одной стороны, сетования на слишком широкие размеры, принимаемые жизнью, с другой стороны, разнообразные предположения по части укорочения ее – вам, конечно, могут подобные бессознательные толки в значительной степени опротиветь, показаться несносными, нелепыми, но ни в каком случае они не удивят и не приведут вас в негодование. Мало ли всякого люда шатается по улицам? Разве можно за всяким усмотреть, всякого переспорить, всякого вразумить? Да и вразумлять этот «шлющийся народ» – далеко не легкое дело; это значило бы с каждым проходящим начинать с азбуки, что, очевидно, может быть с успехом выполнено только приходскими училищами, которые с тою целью и устроены, чтобы в них обучались люди всякого рода «начаткам».

Поэтому, когда вы слышите на улице голословные известия против якобы господствующего в современном поколении духа отрицания; когда вы слышите, что людей, ищущих

отнестись к жизни сознательно, называют чуть-чуть не него-  
дяями и разбойниками; когда вы видите людей малосмыс-  
ленных, бессмысленно вращающих глазами по поводу таких  
вопросов, которых они даже изъяснить себе не могут, – вас  
может это встревожить только с точки зрения абстрактной  
и гуманной. Быть может, вы были убеждены, что сумма зна-  
ний, увеличиваясь непрерывно, вместе с тем делается более  
и более доступною и для масс; что факты, которые в преж-  
нее время стояли под защитою темных и голословных акси-  
ом, отнюдь не перестали быть фактами оттого только, что  
они переменили эту ненадежную защиту на более прочную  
защиту разума, – и вот уличная толпа уверяет вас в против-  
ном. Она громко заявляет себя сосудом не в смысле накоп-  
ления знаний, а в смысле накопления невежества; она про-  
тестует против вмешательства разума в дела мира сего и ста-  
новится на сторону бессознательности, случайности и про-  
извола, как таких форм, в которых наиболее удобным обра-  
зом укладывается человеческая жизнь. Это вас огорчает. Но,  
повторяем, ваше огорчение в этом случае имеет чисто аб-  
страктный характер. Взятый в отдельности, ни один из чле-  
нов невежественной толпы не может возбудить вашего него-  
дования. Вам заранее известно, что все, что там ни делает-  
ся, в этой темной пучине, делается или по привычке, или по  
неведению. Вы знаете, что если эта уличная толпа, с которой  
вы на каждом шагу встречаетесь, и обучалась когда-то ка-  
ким-то «начаткам», то она давно забыла их и даже это скуд-

ное знание заменила так называемую житейскую мудростью или, попросту, рутиную; в противном случае, она, конечно, не приходила бы в ужас от таких, например, истин, что гром есть явление объяснимое и что реки текут не к источникам, а к устьям не по щучьему велению, а по причинам, удовлетворительно раскрываемым законами природы.

Сказавши себе раз навсегда, что толпа обогащается знаниями медленно, вы легко можете установить свои отношения к ней. Что бы она ни говорила, как бы ни шипела против пытливости человеческого разума – все это будет для вас делом посторонним, не требующим ни возражений, ни препирательств. Вы идете по улице и говорите себе: я иду тут, потому что мне нельзя сделать иначе; покорюсь этой необходимости и постараюсь сделать так, чтобы как можно меньше слышать, как можно меньше видеть, как можно меньше обонять. Заручившись таким благоразумным решением, вы, в согласность ему, принимаете меры, которые наиболее действительным образом могут оградить вас от неприятных ощущений. Вот все, к чему вы обязываетесь в видах самосохранения.

Но когда мирозерцание, совершенно понятное и уместное, если вы знакомитесь с ним в таком философском трактате, как, например, «голубиная книга»,<sup>[1]</sup> проникает в литературу; когда эта последняя, вместо того чтобы пробуждать общество, ищет усыпить его, вместо того чтобы сеять в нем мысль о необходимости сознательного отношения к жизни,

еще более усиливает и без того сильные опасения тех открытий, которые влечет за собой беспристрастный анализ понятий, явлений и форм, – тогда, говорим мы, равнодушие становится делом гораздо менее легким. Литература и пропаганда – одно и то же. Как ни стара эта истина, однако ж она еще так мало вошла в сознание самой литературы, что повторить ее вовсе нелишнее. Всякая светлая мысль, брошенная литературою, всякая новая истина, добытая ею, находит слишком большое количество прозелитов, чтоб можно было не дорожить этим присущим ей качеством побеждать мрак и покорять людей, наиболее упорствующих в предрассудках. Точно то же приблизительно должно сказать и о заблуждениях. Литература, пропагандирующая бессознательность и беспечальное житие на авось, конечно, не может иметь особенных шансов навсегда покорить мир своему влиянию, но она может значительно задержать дело прогресса и наносить ему по временам такие удары, которые будут тем чувствительнее, что представители прогресса все-таки люди и в этом качестве к перенесению ударов не всегда равнодушны.

В особенности важно, в смысле образовательном, влияние той отрасли литературы, которая называется беллетристикою, потому собственно, что эта отрасль есть наиболее доступная пониманию большинства. Конечно, беллетристика не дает читателю той полноты и уверенности знания, к которым приведет его наука путем доказательств, но влияние беллетристики все-таки может быть благотворным в том

отношении, что она предрасполагает к исканию истины и заставляет читателя скептически отнестись к тем несознанным аксиомам, которыми он до того руководился. По нашему мнению, это заслуга немаловажная, и только совсем лишенные смысла люди могут называть беллетристику, как орудие пропаганды, литературу легкого поведения.<sup>[2]</sup> Эти люди, очевидно, не понимают, что дело совсем не в названии и что можно, пожалуй, отыскать и науку легкого поведения, то есть ту самую, которая служит популяризированию первоначальных истин, без знакомства с которыми невозможно, однако ж, дальнейшее движение общества на поприще знания. И беллетристика, и наука в этом случае, конечно, заслуживают название «легких», но воспитательное их значение от того нисколько не умаляется.

Каждое произведение беллетристики, не хуже любого ученого трактата, выдает своего автора со всем его внутренним миром. Читая роман, повесть, сатиру, очерк, мы без труда можем определить не только мирозерцание автора, но и то, в какой степени он развит или невежествен. Ошибочно думают те, которые утверждают, что интерес беллетристического произведения исчерпывается одной художественною стороною, одною авторскою способностью живо схватывать признаки того или другого явления. Выбор явления в этом случае далеко не индифферентен, как равно не индифферентно и отношение к нему автора. Мы можем, пожалуй, назвать довольно отечественных беллетри-

стов, которые, со стороны художественной ценности, наде-лены не меньше, например, Шпильгагена, но в то время как последний представляет нам человека цельного, определив-шего свои отношения ко всем разнообразным стихиям, из которых в данную минуту слагается общественная и инди-видуальная жизнь – первые рисуют ряд простых организов, озабоченных исключительно потребностями питания и половых отправлений. Ясно, что область, которую захватывает Шпильгаген, обширнее, нежели та, которую берут русские талантливые беллетристы, что эта область включает в себе большее разнообразие явлений, что она представляет повод для значительнейшего числа комбинаций, и что ежели мы примем во внимание только одно последнее условие, то есть разнообразие и большую сложность комбинаций, то и тут окажется, что *интерес* беллетристического произведе-ния, при равных художественных силах, всегда пропорцио-нален степени умственного развития автора.

Что касается до мирозерцания, то хотя, в большей ча-сти случаев, благодаря еще ходячему учению, будто художе-ственная сила сама по себе индифферентна, оно не выска-зывается столь резко, как умственная развитость и неразви-тость авторов, но так как ледяная кора, дававшая возмож-ность скрывать человеческие симпатии и антипатии, с каж-дым днем, с каждым часом становится тоньше и тоньше, то и шансы утаивать их делаются все менее и менее доступны-ми. Олимпийское равнодушие к текущим (или, как обык-

новенно говорится, временным) интересам действительно-сти понятно только тогда, когда интересы эти устраиваются сами собою, идут своим чередом, по раз заведенному порядку (так было у нас при крепостном праве); но когда действительность втягивает в себя человека усиленно, когда наступает сознание, что без нашего личного участия никто нашего дела не сделает, да и само собою оно ни под каким видом не устроится, тогда необходимость сознать себя гражданином, необходимость принимать участие в общем течении жизни, а следовательно, и иметь определенный взгляд на явления ее представляется настолько настоятельною, что едва ли кто-нибудь может уклониться от нее. И чем пристальнее художник вникает в эти текущие интересы, которые он не без презрительной улыбки именовал временными, тем более убеждается, что это суть интересы не менее важные, нежели те, которые он, переносясь в другую сферу, несколько напыщенно называл вечными, и что, в конечном анализе, не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным уже по тому одному, что он интерес человеческий.

Эта необходимость относиться к явлениям жизни под тем или иным углом зрения, укрепленная воспитанием и всею совокупностью жизненных условий, нисколько не может служить стеснением для творческой деятельности художника, а напротив того, открывает ей новые горизонты, оплодотворяет ее, дает ей смысл. Художник становится существом не

только созерцающим, но и мыслящим, не только страдательно принимает своею грудью лучи жизни, но и резонирует их. Ничто в такой степени не возбуждает умственную деятельность, не заставляет открывать новые стороны предметов и явлений, как сознательные симпатии или антипатии. Без этой подстрекающей силы художественное воспроизведение действительности было бы только бесконечным повторением описания одних и тех же признаков. Нам могут, конечно, сказать, что в этих симпатиях и антипатиях именно и находится источник всевозможных преувеличений, – такое возражение, конечно, во многих случаях, не лишено будет правдивости, но в том-то и дело, что от этих преувеличений должно предостеречь писателя то чувство меры, то критическое отношение к жизненному материалу, в которых, собственно, и заключается мерило истинной силы художника. Как бы то ни было, однако ж, впадет ли художник в преувеличения или остережется от них, это обстоятельство может иметь влияние только на критическую оценку его произведения. В первом случае произведение будет менее совершенно, во втором – более. Но закон, в силу которого писатель-беллетрист не может уклониться от необходимости относиться к действительности под определенным углом зрения, остается непререкаемым, и избежать его имеет право лишь тот, кто в то же время заявляет право и на полное невнимание публики.

Переходя от этих общих соображений собственно к рус-

ской беллетристике, мы встречаем и в ней, за последнее время, несомненное стремление, во-первых, расширить ее содержание введением новых элементов, которые в прежней беллетристике не принимали никакого участия; во-вторых, поставить читателя на известную точку зрения, на которой стоят сами авторы и в которой, по мнению их, заключается благо. Отсюда – разделение героев на сочувственных и несочувственных автору не по одному тому, что они ленивы или прилежны, строптивы или добродушны, то есть не по одним их домашним качествам, но и по тому, что они имеют тот, а не другой образ мыслей. Отсюда – целые тирады, в которых авторы прямо от своего лица выражают известный взгляд на вещи, не стесняясь тем, что подобная догматика, особливо ежели содержание ее детское, может серьезно повредить художественной стороне их произведений.

По какому-то странному недоразумению, решившись знакомить публику с своим мирозерцанием, все известнейшие русские беллетристы высказали взгляды совершенно однородные, все стали на сторону уличной морали, на сторону заповеданного, общепринятого и установившегося против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего. На первый взгляд это обстоятельство может казаться загадочным. Мы помним беллетристику сороковых и начала пятидесятих годов, помним, при каких тяжелых условиях и какие действительно неоценимые услуги оказывала она пробуждению общественной совести. Она была неизменною предста-

вительницей и распространительницей гуманных стремлений в русском обществе; она образовала поколение людей, взявших на себя впоследствии почин в одном из величайших дел нашего времени, в деле освобождения крепостных крестьян; имея во главе лучшего своего разъяснителя, Белинского, она косвенно или прямо, но всегда неутомимо, всегда не меньше того, сколько позволяло механическое давление извне, преследовала ложь и зло во всех проявлениях. Нам скажут, что ее гуманность очень близко граничила с туманностью, что гуманность сама по себе есть нечто в высшей степени неопределенное, трудно формулируемое и потому не достигающее существенных результатов. Пусть так, но в то время уже и то было немаловажно, что находились люди, которые *всегда* стояли на стороне хорошего и всегда против дурного. Это постоянство действия заставляло предполагать, что то туманное и недосказанное, которое затемняло лучшие произведения тогдашней литературы, было не органическим ее недостатком, а только временною, недобровольно принятою формой, и что, принимая эту форму, представители литературной мысли тем не менее имеют вполне твердые основания пропагандировать те стремления, которые под нею скрываются, что они, пробуждая в публике желание добра, сами понимают это добро в полном его объеме.

На поверку вышло, однако ж, что проповедуемое добро есть добро только отвлеченное, что едва потребовало оно применения для себя, как уже оказалось вышедшим из на-

чертанных для него границ, что литература охотно бралась воспитывать общество, но с тем, чтобы оно не делало из этого воспитания никаких практических приложений. Люди, которых жизнь была непрерывным сеяньем, побуждением и подстрекательством, отвернулись от самих себя и прокляли в других тот кумир, которому сами так исправно служили. Не правда ли, нужно, чтобы случилось что-нибудь очень прискорбное для объяснения подобного переворота и чтобы это прискорбное отразилось не только на личном существовании того или другого индивидуума, а чтобы существование целого общества было потрясено им.

Случилось, однако ж, не более того, что периодически случается на нашей шаткой и мало подготовленной почве, а именно что люди, проводившие литературным путем в русское общество гуманные идеи и стремления, были, за некоторыми исключениями, люди неубежденные, люди, не органически воспитавшие в себе идею добра, а принявшие ее ради ее красоты, ради того прекраснодушия, которое она приносит с собой. В этом-то собственно и заключалась ошибка, в то время, впрочем, совершенно извинительная; ибо кто же мог помышлять в сороковых годах, что идея добра когда-нибудь сделается идеею воинствующей, не останавливающейся, что она заявит претензию исчерпать свое содержание во всех применениях и комбинациях, что ей когда-нибудь надоеет служить только красивым обрывком, годным для украшения той или другой головы? Ужас при ви-

де разрушения монополии проповеди добра был велик; но надо сказать правду, что он все-таки не столь сильно действовал на проповедников, как то обстоятельство, что проповедь все-таки продолжалась и в дальнейшем развитии, по видимому, предположила себе совсем другие цели, нежели прежде, и, во всяком случае, не хотела ограничиться теми неопределенными порываниями, тем успокоивающим дилетантизмом, каким отличалась проповедь сороковых годов.

Но то, что, в сущности, было дорого только как украшение, естественно утеряло всякую ценность, как скоро перестало быть им. При прежнем характере проповеди нельзя было остаться не потому, чтобы недостаточность ее признана была самими проповедниками, а потому, что ее никто не слушал. На первых порах в пользу старых учителей устраивали торжества, на них возлагали надежды, видели в них своего рода Лафайетов и Дюпон де Лёров, которых имена как-то необходимо связываются со всяким движением в смысле добра. И это были действительно Лафайеты и Дюпон де Лёры, но только до того уже своеобразные, что они даже не могли понять чисто почетных свойств своих ролей. Вместо ожидаемой скромности в них прежде всего выступило вперед желание первенствовать и замыкать рты другим, желание, не оправдываемое ни законами справедливости, ни пониманием потребностей времени. Оказалось, что это совсем не Лафайеты, а просто мухи, от которых надлежало отмахиваться.

Мы не сомневаемся, что беллетристы сороковых годов не менее либеральны теперь, нежели в то для всех памятное время, когда они, вслед за Белинским и Грановским, занимались проповедью гуманных стремлений. Но дело в том, что эти стремления, оставаясь только стремлениями (чем, собственно, и исчерпывалось содержание тогдашней либеральной проповеди), очевидно, не могли уже удовлетворять в такое время, когда сама жизнь ставила вопросы, требовавшие не одного сочувственного отношения к ним, но и действительного разрешения в либеральном смысле. У большинства деятелей сороковых годов на такой подвиг не оказалось ни подготовки, ни достаточной решимости. Метафизические основания, с которыми это большинство подходило к новому делу, совершенно не клеились с ним, ибо это дело не ограничивалось одними внешними покровами свободы, одной отвлеченной идеей ее, но проникало дальше, захватывало те практические и не всегда легко дающиеся условия, без овладения которыми свобода не может быть ни действительною, ни прочною. Для гуманистов сороковых годов казалось достаточным объявить во всеуслышание, что свобода есть благо, чтобы всяк и каждый удовлетворился уже одним тем, что провозглашена такая прекрасная истина; на деле, однако ж, выходило, что это, так сказать, только первая половина предложения, что самые лучшие истины мало питательны, ежели они не получили приложения к действительности и ежели, сверх того, это приложение не обеспе-

чено против наплыва всяких зловердных случайностей. Нет ничего желательнее, например, чтоб все люди были добры, чтоб они не подкапывались друг под друга, не вредили друг другу, но какую сложную обстановку нужно придумать, чтобы достигнуть такого результата? Ясно, стало быть, что одно заявление прекраснейших принципов (и притом заявление, лишенное реальных оснований и делаемое с бесчисленным множеством оговорок) очень скоро должно обнаружить свою несостоятельность и показать себя тем, чем оно всегда было: громкою, щегольской фразою, очень мало подвигающею дело общественного прогресса.

Повторяем: было время, когда, конечно, и просто щегольская фраза, проникнутая либеральным духом, уже сама по себе представляла благо и выражала борьбу; но теперь и arena действия, и самый характер борьбы изменились, а этого-то именно и не поняли деятели сороковых годов. Если бы они были проницательны, то сознали бы, что им предстоит одно из двух: или примкнуть к дальнейшему движению мысли и начать разрабатывать жизненные вопросы на той реальной почве, на которую выводило их неумолимое время, или же оставаться в почетном положении Лафайетов и доживать свои дни под защиту прошлого. Думаем, по крайней мере, что так поступили бы те знаменитые покойники, которые некогда были их руководителями и которые, конечно, никогда не могли бы себе представить человеческую мысль остановившеюся. Но большинство рассудило иначе; оно дол-

го упорствовало остаться при своем распутии, но под конец сила вещей одолела, то есть доказала, что время торжества фразы миновалось безвозвратно. Тогда оно предпочло лучше пойти назад, нежели примкнуть к движению, указывавшему вперед. Предпочло, быть может, не злобно, а просто вследствие недоразумения, вследствие того, что новое движение застало его врасплох, а пастыря доброго у него не было.

Вот мысли, на которые мы невольным образом были наведены чтением пятой части романа г. Гончарова «Обрыв». Тем не менее мы взялись за перо вовсе не с тем, чтобы дать читателю оценку нового произведения знаменитого нашего беллетриста – это будет выполнено в одной из ближайших книжек нашего журнала,<sup>[3]</sup> – а желаем сказать здесь несколько слов только об одной составной части этого романа, и именно о философии почтенного автора.

Этой философии посвящена почти вся шестая глава пятой части «Обрыва». Г-н Гончаров до сих пор воздерживался от ясного заявления каких-либо политических или социальных взглядов на современность, и, сознаемся откровенно, мы видели в этом признак того такта, который всегда отличал этого писателя. В «Обломове» усматриваются скорее даже зачатки мысли, побуждающей вперед, зачатки, правда, очень неопределенные, но, во всяком случае, не заключающие в себе ничего противоречащего преданиям сороковых годов. Но теперь, очевидно, предания кончились; «Об-

ломов» может служить для будущего историка русской литературы только уликой того, как непрочны бывают всякие начинания и как легко они сводятся на нет.

Чтобы понять всю суть философии г. Гончарова, необходимо хоть в общих чертах познакомить читателя с физиономией одного из действующих лиц его романа (одного только), Марка Волохова. Волохов есть представитель так называемого молодого поколения и тех идей, которые оно внесло или стремилось внести в нашу жизнь. Немного красок потратил г. Гончаров, чтобы нарисовать этого грубого мужчину, и мы имеем право думать, что это сделано не без умысла, потому что на палитре этого автора обыкновенно имеется большое обилие и разнообразие красок. Когда живописцы изображают Тайную вечерю, то почти всегда следующим образом рисуют Иуду: фигура темная, мрачная, не выражающая никакой внутренней борьбы, а одну тупую решимость. Благодетельные живописцы делают это, конечно, с расчетом: в их намерении – внушить омерзение к Иуде, а так как они знают, что всякий признак внутренней борьбы уже источает из себя начало примирения, то и избегают всего, что могло бы напомнить о человеческом образе при взгляде на эту отверженную фигуру.<sup>[4]</sup> Точно так поступил и г. Гончаров; он сказал себе: Волохов – это пятно нашей современности, а потому и надлежит рисовать не человека, а только пятно. Согласно с этими соображениями он заставляет и действовать своего героя. Волохов входит в дома, в большинстве случаев,

не иначе как в окошко и через забор; он спит в телеге, покрытой циновкою; он занимает деньги, предупреждая, что не отдаст их; он не признает бессрочной любви и довольствуется любовью срочною. Все это черты, которые, по мнению г. Гончарова, характеризуют нового человека, черты, впрочем, не новые, образцы которых мы видели у гг. Стебницкого и Авенариуса, не говоря уже о г. Писемском,<sup>[5]</sup> который в «Взбаламученном море» представил такое образцовое руководство к познанию нигилистов, что даже при самом тщательном труде едва ли кому-нибудь придется сравниться с ним в деле собирания всякого рода нигилистических черт.

Почему г. Гончаров желает, чтоб герой его входил к своим знакомым не через дверь, а через окно, чтоб он спал в телеге, покрытой рогожею, почему он видит в этом признаки типа, и притом типа современного передового человека, – это одному богу известно. Российская империя никогда не оскудевала людьми, входившими в дома через окна, и не только выходящими, но даже вылетающими тем же путем обратно, точно так же как не оскудевала и всякого рода киниками,<sup>[6]</sup> спавшими и в телегах, и на погребницах, и под рогожами, и просто в натуральном виде. Нельзя отрицать, что это были типические черты довольно резкие, но никто никогда не думал приурочивать их к известной современности, никто никогда не связывал их с тем или другим образом мыслей. Скорее всего, на подобные выходки способны были люди, именно страдавшие отсутствием образа мыслей, нежели наобо-

рот, как, например, всякого рода забулдыги, лихачи-кудрявичи, ухари и т. п., которыми и дондесь едва ли оскудела русская жизнь и которые в неистовствах и необычных видах видят подвиг всей жизни.

Очень легко может статься, что г. Гончаров, заставляя Волохова лазить в окна и спать под циновкой, хотел иносказательно наметить следующие типические черты: во-первых, пренебрежение к формализму, предлагающему окольные пути (по мнению почтенного автора, вероятно, излишние) там, где существуют пути прямые, и во-вторых, отсутствие потребности в самых первых удобствах жизни и преднамеренное хвастовство этим качеством. Если это так, то подобное иносказание может подать повод ко многим соображениям, вовсе не столь диким, как это представляется в новом романе. Что жизнь делается проще, что она мало-помалу освобождается от лишних формальностей – это выдуманно не Волоховым, а засвидетельствовано историей развития человеческих обществ. Те наружные действия и поступки, которые налагаются на людей так называемыми светскими приличиями, видоизменяются и упрощаются совершенно пропорционально степени развития общественного. Имея первоначальной целью обузывать дикого человека, они, с исчезновением этой дикости, теряют свой смысл, и ежели почему-либо еще удерживаются, то становятся лицемерием. Поэтому они с течением времени все-таки падают сами собою и уступают место приличию внутреннему, то есть такому об-

разу действий, который подчиняется только критериуму разума и совести. Если в этом естественном ходе вещей и есть что-нибудь смешное, то это смешное представляет только форма, в которой г. Гончаров заставляет Волохова выразить свой протест против общественного формализма. А между тем автор изображает своего героя человеком умным (только ум у него не настоящий, а развращенный), и вдруг этот умный человек не понимает, что способ вхождения в чужие дома через окно не только не самый короткий и удобный, но, напротив того, самый длинный и неудобный. Во-первых, можно перепугать хозяев дома и даже от самого терпеливого получить неприятнейший реприманд; во-вторых, можно быть принятым за вора и, не успев еще привести в исполнение своего намерения осчастливить приятеля таким оригинальным способом вхождения в его квартиру, быть застигнутым хозяевами и сведенным в полицию. Все это влечет за собой такие проволочки времени, которые никак не свидетельствуют ни в пользу рассудительности Волохова, ни в пользу нетерпеливого его желания освободиться от окольных путей. И ежели подобная черта и может быть признана действительно типическою, то, во всяком случае, выражение для нее выбрано очень неудачное. Точно то же должно сказать и о спанье под циновкою. Основное правило всякого человека, сознающего свое достоинство, – это принимать свое положение в том виде, как оно есть, и не стыдиться его. Положения не всегда добровольны и не всегда заслуженны. Бы-

ли времена, когда людей подымали на дыбу, заставляли ходить на спицах, и даже не за преступление какое-нибудь, а просто с целями юридической любознательности. Ужели такое положение само по себе недостаточно мучительно, чтоб усугублять его еще совсем не идущую к делу стыдливостью? Нет, требование такого рода, если б оно и было возможно, заключало бы в себе или утонченную жестокость, или легкомысленное надругательство. Волохов, как видно из романа г. Гончарова, находился если не совсем в положении человека, ходящего по спицам, то в положении приблизительно подходящем. Он не добровольно лишал себя удобств (мы видим даже, что он несколько сибарит и с этою целью занимает без отдачи деньги), а потому, что эти удобства были ему недоступны. Смешного тут опять-таки нет ничего. Остается, стало быть, преднамеренная выставка этих неудобств напоказ, но здесь, во-первых, едва ли не большею роль играет так называемая красота слога, а во-вторых, стоит только отчетливо представить себе то развинченное существо, которое называется Райским и перед которым, собственно, и производится упомянутая выставка неудобств, чтоб понять, что со стороны Волохова это просто невинное желание посмеяться над великосветским разинею, а совсем не провозглашение каких-либо принципов.

Третий типический признак: Волохов берет займы деньги и не отдает их. Черта действительно резкая, хотя в истории и небеспримерная. Деньги – это воистину такой кра-

угольный камень, относительно которого непочтительное обращение составляет проступок чувствительный и не легко забываемый. Но все же, повторяем, это проступок не до такой степени беспримерный, чтобы чувствовалась необходимость положить его в основание типической черты, и притом не отдельного индивидуума, не Волохова как Марка, а Волохова как представителя известных стремлений современности. Шекспировский Фальстаф<sup>[7]</sup> положительно не различал своего от чужого и пользовался этой свободой смешения в самых широких размерах, но никому в голову не приходило присвоить Шекспиру намерение изобразить в этом простодушном бездельнике новатора и провозвестника каких-то начал общественного возрождения. Оказывается, однако ж, что Волохов именно новатор, что он отнюдь неспроста занимает деньги у знакомых, а в силу принципа. Он занимает и приговаривает. Мы думаем, однако ж, что подобная склонность связывать наиболее подвергающиеся порицанию человеческие действия с такою доктриною, которая еще не выяснилась окончательно или почему-либо в данную минуту антипатична обществу, есть склонность крайне предосудительная. Это склонность наносить удары в уверенности не встретить отпора; это склонность брать крепости без боя. Тем не менее даже и при подобной уверенности дело не всегда может кончиться благополучно для лица, обладающего ею. Очень может случиться, что читатель не удовольствуется одними темными инсинуациями и пожелает разъяснений. В

каком положении очутится инсинуатор, если окажется, что он не имеет даже самых первоначальных понятий о том деле, которое думает разорить? Очевидно, ему будет стыдно. Мы, русские, благодаря цензурному гнету, долго над нами тяготевшему, в особенности обладаем какою-то несчастною способностью проглатыванья. Если мы чего-нибудь не знаем, то стоит нам только в надлежащем месте крикнуть, чтоб читатель подумал, что за этим криканьем таится и невесть какая ученая глубина. Однако пора бы, кажется, вспомнить, что если во время оно и было согласно с видами цензуры, чтобы обстоятельное изложение некоторых доктрин не допускалось даже под условием критического отношения к ним, то теперь этого стеснения не существует. Теперь можно свободно опровергать ту или другую доктрину шаг за шагом, нимало не стесняясь; можно даже бранить, выражать негодование и проч. Предполагается, что возражатели настолько убеждены сами, что могут и в других поселить те же убеждения. Это считается даже нелишним, потому что увеличивает круг людей, сознательно отвергающих учение, признаваемое ложным, а не подмигивающих только по поводу его. Сословие подмигивателей и без того распространено больше, чем нужно, но пользы от него нет; напротив того, очень часто случается, что подмигиватель самый ревностный, случайно и даже очень поверхностно просветившись, вдруг превращается в не менее ревностного пропагандиста. Этот народ тем легковвернее, тем менее устойчив против всякого ро-

да соблазнов, чем сильнее укоренилась в нем привычка жить на веру, чем слабее в нем способность рассуждать. Вот почему казалось бы желательным, что если уж есть поползновение непременно установить связь между такими действиями, как, например, воровство, и такими доктринами, о которых русская публика имеет понятие довольно смутное, то было бы нелишнее, чтобы такого рода установители представляли какие-нибудь доказательства, что им, по крайней мере, небызвестно то, к чему они приравнивают то или другое человеческое действие, подлежащее, по их мнению, порицанию. Вот нам, например, ничего неизвестно о доктрине займа у приятеля денег без отдачи, а г. Гончаров, по-видимому, нечто знает о существовании ее. Очевидно, однако, что это не просто доктрина безвозвратных займов, а какая-нибудь особенная, и что безвозвратный заем денег есть только грубая и пошлая форма, к которой всякий встречный шалопай имеет возможность прибегнуть для прикрытия своего бездельничества. Но в таком случае, что же общего между этой особенной доктриной и таким пошлым ее извращением?

И ежели доподлинно известно, что существует такое учение, которое отвергает различие между твоим и моим, то для чего скрывать это? Для чего оставлять читателя в недоумении? Для чего потворствовать этой особенной доктрине – иначе мы не можем назвать подобный прием, как потворством, – прикрывая ее самым простым и общеизвестным жи-

тейским актом займа денег без отдачи? Помилуйте, скажет любой читатель, что же в ней особенного, в этой доктрине! Да у меня не дальше, как вчера, такой-то, Иван Иванович, занял побольше тех трехсот рублей, которые занял у Райского Волохов, и хоть я, и без его предупреждения, знаю, что он никогда мне их не отдаст, но у меня и в помышлении никогда не было и не будет называть, вследствие этого, Ивана Ивановича ни новатором, ни даже опасным человеком!

Вообще, по нашему мнению, если обличать человека нового, человека, одержимого современными тенденциями, то следует обличать его до конца. Сошлемся опять на того же Шпильгагена, на которого уж несколько раз ссылались (мы считаем его талантливейшим из современных беллетристов, дающим роману совершенно новое содержание). В романе его «Один в поле – не воин» мы встречаемся с действительным представителем новых стремлений, но этот представитель не ворует, как делают некоторые герои «Взбаламученного моря», и не занимает денег без отдачи, как это делает Волохов, а устраивает ассоциацию работников, становится во главе социального и политического движения<sup>[8]</sup> и заинтересовывает в своем деле даже таких лиц, которые всего менее имеют склонность и выгоду интересоваться вопросами подобного рода. Допускаем заранее, что все, что ни предпринимает этот новый человек, есть ложь, но эта ложь грандиозная, ложь, о которой стоит говорить, против которой не стыдно бороться. Люди порядочные и в врагах своих видят

людей порядочных же,<sup>[9]</sup> не шалопаев, которые из-за четвертака или из-за не полученных ими выгодных кондиций готовы проклясть свою душу и выдавать и клеветать на своих единомышленников. А нам представляют мелких воришек платков и приглашают видеть в них демонов-искусителей и опасных новаторов – не странное ли это недоразумение!

Но, скажут нам, что же делать, если русская жизнь не представляет таких широких мотивов, какие мог без труда найти Шпильгаген в Германии? На это мы ответим, что такое возражение во всех частях неправильно. Что русская жизнь обладает мотивами очень разнообразными и весьма высокого разряда, в этом мы можем убедиться даже по роману г. Ключникова «Марево».<sup>[10]</sup> Если автор опошлил эти мотивы, украсив их разными Горобцами, – это не доказывает их несуществования, а доказывает только склонность романиста увлекаться легким способом отделяться от своих героев. На подобные же мотивы мы встречаем намеки в недавней повести г. Гл. Успенского «Разорение».<sup>[11]</sup> Вообще, всякий, кому небезызвестна история нашей общественности за последние восемь-девять лет, едва ли может сказать, чтоб она не содержала в себе достаточного материала для драмы. Самое обилие всякого рода неудач, ошибок и разочарований уже достаточно указывает на это. Да и романисты наши, очевидно, понимают не только то, что нужно чем-нибудь оживить старый материал, но что и есть чем оживить его, да не знают, как сделать это.

Четвертый типический признак – протест против бес­срочной любви, или, говоря словами не столь мудреными: Волохов не хочет жениться на Вере, предпочитая пользо­ваться одними удовольствиями любви без тех стеснений и обязательств, которые налагаются на это пользование обще­ственными приличиями. И это признак типический только потому, что г. Гончарову угодно было дать ему такой харак­тер, приурочив его тоже к какой-то доктрине и сделав док­тринодержателем Волохова, этого невинного козла, на кото­рого без всякого основания возложены прегрешения совре­менности. А дело, между тем, объясняется очень просто. Су­ществует так называемый «женский вопрос», то есть вопрос о положении женщины в обществе, о правах ее на участие в делах его, об отношениях женщины к мужчине и, пожа­луй, коли хотите, о том, что г. Гончаров называет срочной и бессрочной любовью. Вопрос чрезвычайно обширный, тре­бующий со стороны занимающегося им тщательной подго­товки и встречающий в своем разъяснении множество очень серьезных препятствий, благодаря щекотливости предмета, возможности поставить его на самую неблагоприятную и иск­лючительную почву и другим более или менее злокознен­ным инсинуациям. И вот Марк Волохов является вопло­тителем этого вопроса с такую же точно готовностью, с какою, как показано выше, он взял на себя труд быть представите­лем доктрины, отрицающей собственность. Чем же он заяв­ляет свое понимание женского вопроса? – А тем, и тем од-

ним, что он во что бы то ни стало хочет соблазнить девушку, возбуждившую в нем вождление! Как легко, подумаешь, представительство в этом злосчастном обществе, в котором никто ничего не может делать, кроме как разевать рот! Хочешь быть отрицателем собственности – займи денег и не отдай их; хочешь быть поборником прав женщин – соблазни девицу, сказав ей предварительно, что этот акт называется актом срочной любви.

Для всякого, однако ж, понятно, что между «женским вопросом» и поступком Волохова, соблазняющего Веру, связи нет никакой и что последний может быть совершен независимо от всякой прикосновенности даже к теории срочной и бессрочной любви. К сожалению, авторы-беллетристы не всегда различают, что практика отнюдь не всегда непосредственно следует за теорией и что последняя, в большей части случаев, значительно опережает первую. Вот почему исследования по какому бы то ни было социальному вопросу, производимые в области теории, никогда не могут быть связаны с идеею о *насилии*, хотя бы они в известной степени и не сходились с действительностью. Иначе пришлось бы понятие о *наказании* применять ко всякому исканию истины еще не выяснившейся, но возможной. Пришлось бы оставаться неподвижным в ожидании, что истина объявится сама, а так как она сама никогда не объявляется, то люди, поставленные в невозможность искать ее, должны были бы довольствоваться только теми простыми ее зачатками, кото-

рые действительно сами бросаются в глаза. Но в то же время искание истины, даже самой необычной, самой противоречившей установившимся понятиям, вовсе не предполагает фаталистически чьего-нибудь несчастья или порчи чьей-нибудь жизни. Тот, кто признает преимущества срочной любви перед бессрочною, вовсе не обязан быть развратным и даже не обязан забыть, что, при известным образом сложившихся обстоятельствах, теория срочной любви, как бы она ни казалась верною, не может иметь непосредственного и немедленного применения иначе, как на собственный риск участвующих в деле сторон. Даже и тот злосчастный и очевидно заблуждающийся человек, который отрицает в принципе собственность, не только не обязан доказывать правоту своего убеждения воровством или безвозвратными займами денег, но даже может на практике пользоваться правом собственности, защищать эту собственность и воровства не одобрять. Вообще, люди, сильно занятые интеллектуальными интересами, реже решаются на такие поступки, которые могут только дразнить общественное мнение, не приводя к другим, более существенным результатам. Но еще менее допускаются ими подобные поступки в тех случаях, когда они ставят в фальшивое положение постороннее лицо, которое, быть может, сгоряча и примет это положение, но впоследствии может и не совладать с ним. Такого рода практика скорее свойственна тем негодным людям, которые лицемерно выполняют все предписываемые обществом формальности и в то же

время подкапываются под его основания гораздо зловреднее, нежели тем, которые явно ищут новых форм жизни в видах согласования интересов всех и каждого.

Таким образом, связывая взбалмошное вожделение Волохова с вопросом о взаимном отношении полов и о положении женщины в обществе и делая из этой связи типическую черту, рисуящую представителя современных стремлений, г. Гончаров напрасно думает, что он что-либо доказывает и в чем-либо убеждает. Это только его личное мнение, или, лучше сказать, плод его недоразумения, которое при нем, конечно, и останется. Тип женолюбца существовал издревле, и новый роман не прибавляет к нему ни одной новой черты. В произведении г. Гончарова стремление к женщине изображается в том же самом грубом и невосделанном виде, в каком оно встречается и может встретиться в любой из многочисленных российских весей. Попытки Райского насчет Марфиньки и Веры не меньше возмутительны, нежели попытки Волохова, – почему же автор не возмущается ими и смотрит на них, как на милую шалость? Не потому ли, что Райский богат, а Волохов беден, что Райский прилично одет, а Волохов едва прикрывает наготу свою? Не потому ли, наконец, что к Волохову надо было во что бы то ни стало пришить какую-нибудь этикетку, которая вышвырнула бы его еще далее за пределы признанного *societe*?<sup>1</sup> Хорошо; но в таком случае все-таки надо было бы, по малой мере,

---

<sup>1</sup> обществом

предварительно прочитав эту этикетку и объяснив ее себе.

Таковы типические признаки, таковы действия человека, которого автор «Обрыва» выдает нам за представителя каких-то новых идей, представителя, в присутствии которого иметь на столе четвертак небезопасно. Понятно, что эти признаки заинтересовывают читателя, если не со стороны художественной правды, которой в них не обретаются, то, во всяком случае, со стороны оригинальности и смелости. Читатель желает узнать то великое и мудрое мирозерцание, во имя которого мог создаться столь непривлекательный анти-тезис, то мирозерцание, которое успокоило бы читателя, примирило бы его с жизнью и заставило забыть всех этих Волоховых, нагло берущих взаймы деньги без отдачи и вдобавок посещающих своих знакомых необычным путем – через окно. Изложению этого мирозерцания, как сказано выше, автор посвятил шестую главу пятой части своего романа; мы и займемся им теперь.

Вот его сущность, выраженная словами самого автора:

«После всех пришел Марк, и внес новый взгляд во все то, что она (то есть Вера) читала, слышала, что знала, – взгляд полного дерзкого отрицания всего, от начала до конца, небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков... Она с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталой,

а пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола.

Ей прежде всего бросились в глаза зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умышенная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы, бойкий ум, и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни, только потому, казалось ей, что они были готовые.

Иногда в этом безусловном рвении к какой-то новой правде виделось ей только неуменье справиться с старой правдой, бросающейся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от не проверенных ничем новых авторитетов, неведь откуда взявшихся новых людей – без имени, без прошедшего, без истории, без прав.

Она добиралась в проповеди и увлечениях Марка чего-нибудь верного и живого, на что можно опереться, что можно полюбить, что было так прочно, необманчиво в старой жизни, которой, во имя этого прочного, живого и верного, она прощала ее смешные, вредные уродливости, ее весь отживший сор. Она страдала за эти уродливости, и от этих уродливостей, мешавших жить, чувствовала нередко цепи, и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконец... чем бы он ни был

для нее – и идти на борьбу против старых врагов: стирать ложь, мести сор, освещать темные углы, смело, не слушая старых разбитых голосов... Но для этого нужно глубоко и неозвратно убедиться, что истина впереди.

Она шла не самонадеянно, а, напротив, с сомнениями, не ошибается ли она, не прав ли проповедник, нет ли, в самом деле, там, куда так пылко стремится он, чего-нибудь такого, чистого, светлого, разумного, что могло бы не только избавить людей от всяких старых оков, но открыть Америку, новый, свежий воздух, поднять человека выше, нежели он был, дать ему больше, нежели он имел? Она искала, ждала, прислушивалась к обещанным им благам, читала приносимые им книги, бросалась к старым авторитетам, сводила их про себя на очную ставку, но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обещал, куда звал смелый проповедник...

Дело ограничивалось беспощадным отрицанием всего, во что верит, что любит, на что надеется живущее большинство. Марк клеймит это враждой и презрением; но (?) Вера сама многого не признает в старом свете. Она и без того знает и видит болезни: ей нужно знать, где Америка? Но ее Колумб, вместо живых и страстных идеалов правды, добра и любви, человеческого развития и совершенствования, показывает ей только ряд могил, готовых поглотить все, чем жило общество до сих пор. Это были фараоновы тощие коровы, пожравшие коров толстых, и не делавшиеся сами от того

толще. Он, во имя истины, развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, неживотную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному. *Самый процесс жизни он выдавал и за конечную ее цель. Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя.*<sup>[12]</sup> Угадывая законы явления, он думал, что уничтожал и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее, за неимением приемов и свойств ума, чтоб уразуметь ее. Закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям, разрушая, младенческими химическими или физическими опытами, и вечность, и бессмертие, думая своей детской тросточкой, как рычагом, шевелить дальние миры, и заставляя всю вселенную отвечать отрицательно на религиозные надежды и стремления «отживших» людей.

Между тем, отрицая в человеке человека – с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду (*дерзкий!*), какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям, не замечая, что все это делалось ненужным при том, указываемом им, случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду, в огромном столбе, сталкиваются, мнутя, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни, чтоб завтра дать место другому тако-

му же столбу. «Да, если это так, – думала Вера, – тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, правдивее, чище, добрее. Зачем? для обихода на несколько десятков лет? Для этого надо, как муравью, запастись зернами на зиму, обиходным уменьем жить, такую честностью, которой синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватало на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно... Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели... Но так ли это? Где доказательства?»

А он требовал не только честности, правды, добра, но и веры в свое учение, как требует ее другое учение, которое за нее обещает – бессмертие в будущем, и в залог этого обещания дает и в настоящем просимое всякому, кто просит, кто ищет.

Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него, ту же жизнь, только с унижениями, разочарованиями, и впереди обещало – смерть и тлен. Взявши девизы своих добродетелей из книги старого учения, оно обольстилось буквою их, не вникнув в дух и глубину, и требовало исполнения этой «буквы» с такою злобой и нетерпимостью, против которой остерегало старое учение. Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вместо отринутого старого, никакого другого, лучшего идеала жизни.

Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что бы-

ло в его проповеди и доброго, и верного – не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой «цивилизации», которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении. От этого она только сильнее уверовала в последнее и убедилась, что – как далеко человек ни иди вперед, он не уйдет от него, если только не бросится с прямой дороги в сторону, или не пойдет назад, что самые противники его черпают из него же, что, наконец, учение это – есть единственный, непогрешительный совершеннейший идеал жизни, вне которого остаются только ошибки.

Вере подозрительна стала личность самого проповедника»...

Что прежде всего поражает в этой бесконечно длинной обвинительной речи – это то, что содержание ее ни под каким видом нельзя собрать в один фокус, равно как невозможно рассказать его своими словами. Это-то собственно и есть то пресловутое искусство проглатывания, о котором говорено было выше. Наговорено очень много, наговорено, по видимому, даже очень красиво, и вместе с тем не сказано ничего, что могла бы задержать память без исключительных усилий; не употреблено ни одного слова в его собственном значении, не выражено ничего такого, что относилось бы к делу прямо, а не бродило кругом да около. «Какой-то», «как будто» – вот любимейшие выражения автора, вот те орудия, при помощи которых он намеревается кого-то и в чем-то

убедить.

Постараемся, однако ж, опознаться во всех этих неопределенностях, постараемся найти в них указание на ту истину, которую нам полезно руководиться в жизни, и на ту ложь, которой следует избегать. Как люди скромные и отнюдь не отворачивающиеся от того, что может иметь для нас последствием душевный мир и довольство собою (а пожалуй, даже и просто «тихое и безмятежное житие»), мы охотно воспользуемся всеми указаниями, которые будут нам даны в этом смысле. Если мы излишне строптивы, потщимся переломить и ускромнить себя; если наши страдания и жизненные неудачи происходят от того, что наша мысль дерзко переходит за те пределы, которые предназначены ей самой ее природою, — постараемся ввести ее в эти пределы. И будем счастливы.

До сих пор г. Гончаров объяснял созданный им тип нового человека делами его. Дела эти, как мы видели, не особенно мудреного свойства и даже не особенно типичны. Это дела, свойственные любому человеку старого закала, бессознательно отдающемуся потоку жизни, дела, с которыми мы на улице встречаемся чуть не на каждом шагу и ни в каком случае не обличающие новатора. Но в пятой части почтенный автор уже не ограничивается теорией безвозвратных займов и срочной любви, ибо понимает, что этого далеко не достаточно, чтобы испугать читателя. Поэтому он считает необходимым раскрыть перед нами ту закулисную сторону жизни Волохова, которую последний обнаруживает неохотно и не

перед всеми; он вводит нас в самое святилище мысли своего героя.

Но прежде нежели мы приступим к подробному разбору «новых» мыслей, которыми снабдил г. Гончаров свое детище, мы встречаемся с вопросом: имел ли Волохов право так мыслить, как он мыслил или, по крайней мере, как заставил его мыслить автор «Обрыва», то есть мыслить, соображаясь единственно с собственным разумением и с тою степенью умственного развития, которой он достиг? Откровенно говоря, мы думаем, что право это принадлежало Волохову непререкаемо и что г. Гончаров, в художественном смысле, сделал большую ошибку, не признав за ним этого права. Разоблачая внутреннюю жизнь своего героя, он, по нашему мнению, поступил слишком уже просто, а именно: ограничился одним сухим перечнем его «новых» мыслей и затем вменил их ему в вину, не воплотив их в жизнь, то есть не дав практического исхода ни его дерзости, ни его отрицанию, ни его презрению «ко всему тому, что не носит на себе печати реальности». Искусство имеет не более прав на человека, нежели общество с его арсеналом законов, обычаев и условных приличий. Искусству не возбраняется, конечно, проникать во внутреннюю храмину человека, но экскурсии такого рода могут быть терпимы только в таком случае, когда художник наверное знает, что он найдет в этой храмине то именно, что ему нужно, и когда плодом таких экскурсий будет доказательство, то есть соединение в одном живом об-

разе таких типических черт, из которых ни одна другую не исключает, ни одна другой не противоречит. Если художник, вместо живого образа, находит только сухой перечень мыслей человека, то это значит, что он забрался в такую сферу, которая ему не под силу, ибо эта сфера, не изобилуя внешними признаками, поддается только самому тонкому наблюдению и во всяком случае требует, чтобы наблюдатель стоял на одном уровне с наблюдаемым. Что г. Гончаров находился именно в таком затруднительном положении относительно изображаемого им лица, это доказывается тем, что он не нашел в его внутреннем мире ничего такого, чего нельзя было бы не отыскать в любой хрестоматии. «Перечни» мыслей обладают именно тем свойством, что их можно составлять, по произволу, короткие и длинные, и по произволу же приурочивать к любому субъекту, не прибавляя через то ни одной черты к его характеристике. Может быть, этот субъект и действительно мыслит так, как уверяет художник, а может быть, и не так, — где доказательства того или другого предположения? Мысль есть функция крайне неуловимая и колеблющаяся; чтобы иметь возможность с уверенностью сказать, что вот такая-то мысль составляет существенное и жизненное достояние такого-то субъекта (а только под таким условием она и может подлежать какому бы то ни было суду), надобно, чтобы она выразилась или в целом ряде повторительных действий, или хотя и в одиночном действии, но настолько характерном и решительном, что оно дает поворот

целой жизни, или же, наконец, в полной и строго согласенной теории. Покуда художник не успел добыть ни первого, ни другого, ни третьего, дело его будет неверно, и как бы ни был пространен и разнообразен перечень мыслей, которыми он обогатит своего героя, какие бы он ни делал усилия, чтобы уверить читателя, что герой его мыслит именно так, как об этом свидетельствуется в книжке, – читатель не поверит ему. Он скажет: я верю только тому, что вижу и в чем убеждаюсь; я не считаю себя вправе ни одобрять, ни порицать таких мыслей, которые ни в чем себя не проявили, которые могли зародиться случайно и умереть в следующую минуту после их зарождения.

Общество, которое в этом смысле можно назвать художником в высшем значении этого слова, именно так и поступает. Оно простирает свои притязания на внутренний мир человека только в той мере, в какой этот мир заявляет себя во внешности, и награждает или карает лишь то, что действительно обнаружило себя добром или злом. Конечно, нельзя отрицать его права останавливаться и на некоторых частных признаках этого внутреннего мира, но, подмечая эти частности, оно получает основание только для одного и притом самого недостаточного из всех актов, в которых выражается способность анализировать и обсуждать человеческие действия, а именно: для предчувствия, и много-много для подозрения. Как бы ни казалось вероятным предчувствие или подозрение, все-таки оно только вероятно, а не

достоверно. Отсутствие этой достоверности делает очертания неясными, вводит в них враждебный элемент сомнения. Материал, добытый этим неверным путем, может дать повод к дальнейшему исследованию, возбудить желание увеличить ту сумму признаков, которая отчасти уже собрана, но ни в каком случае не будет достаточным и прочным материалом для суда. Поэтому общество, обыкновенно столь строгое к человеческим *действиям*, гораздо более осторожно и осмотрительно относительно человеческой мысли. Оно знает, что для действий нет ни возврата, ни поправки и что мысль, напротив того, воспитывается, развивается и, следовательно, сама себя каждоминутно поправляет.

Повторяем: приемы истинно художественной силы и приемы общественного суда в этом случае совершенно одинаковы. Как та, так и другой тогда только действительно овладевают своим предметом, когда из области гадательного и произвольного вступают в область достоверности. Подтасовать признаки, нанизать их целую нить легко может любой адвокат, но ложь этой подтасовки немедленно обнаружится в тех перерывах, которые *всегда* влечет за собой преднамеренная подтасовка и которых не наполнит искусство самое кропотливое. Мы знаем, что в азбуках найдется довольно всяких сентенций, с помощью которых можно и возвеличить и убить человека, но для этого надобно, чтобы эти сентенции, по малой мере, были предъявлены не в виде истрепанных листочков, случайно заблудившихся в письменном столе то-

го человека, которого внутренний мир мы положили себе задачей раскрыть.

Посмотрим же теперь, какие это опасные мысли, какие те новые взгляды, которые Волохов нигде и ни в чем не высказывает, но которые автор романа находит у него в голове. Не забудем при этом, что г. Гончаров называет Волохова «новым апостолом» и что, следовательно, он придает его мыслям и взглядам значение далеко не шуточное.

Все сказанное по этому случаю г. Гончаровым может быть приурочено к следующим пунктам: 1) Волохов предъявляет «взгляд полного дерзкого отрицания всего, от начала до конца: небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков»; 2) он неоснователен, зыбок, односторонен, не умеет «справиться со старой правдой, бросающейся к новой, добытой им без борьбы»; 3) он верит каким-то новым авторитетам «без имени, без прошедшего, без прав, без истории»; 4) он «развенчал человека в один животный организм и самый процесс жизни выдавая за конечную цель ее»; 5) он «разложил материю на составные части и думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя»; мало того: «угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы»; 6) он закрыл доступ в вечность религиозным и философским упованиям и «младенческими своими химическими и физическими опытами разрушил бессмертие»; 7) он указывал на какой-то случайный порядок бытия, где люди толпятся, как

мошки, мнутся, сталкиваются, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни; 8) он требовал честности, правды и добра в жизни и в награду за это ничего не обещал и, наконец, 9) он совершал подлог, выдавая за новое учение то, что, в сущности, содержалось и в старом учении, из которого он взял даже все девизы проповедуемых им добродетелей.

Как ни увесисты обвинения, изложенные в этих девяти пунктах, но они кажутся таковыми только на первый взгляд; в сущности, это не более как детские разглагольствования, в основании которых положено бессодержательное и давно уже всем приевшееся слово «отрицание».

Что такое «отрицание»? Очевидно, это уличное выражение, выдуманное только в пику науке и людям, занимающимся изучением явлений природы и жизни. Попробуйте выйти на улицу и сказать первому проходящему, что воздух может быть разложен на составные части, – он наверное ответит вам: э, какие вы пустяки городите! Ясно, что в этом случае прохожий отрицает; он отрицает науку, отрицает добытые ею результаты, но в то же время он думает, что защищает, а именно защищает целостность и неприкосновенность воздуха, которым он дышит. А так как тут все-таки кто-нибудь нечто отрицает, то он эту роль отрицателя возлагает на ваши плеча, а на свои собственные плеча кладет сладкое бремя «прочного, необманчивого, живого и верного». – Эге! скажет он, если можно разложить воздух, стало быть, мож-

но разложить и материю вообще, стало быть, нет тайны, нет прочного, нет живого и верного! так ты вот кто! так ты, значит, отрицаешь *всё!*<sup>[13]</sup>

Вот мудрые глаголы, которые обыкновенно изрекает говорящая улица, и по поводу их мы можем только повторить совет, данный в начале нашей статьи, – как можно менее говорить на улице и предлагать только самые необходимые вопросы, например: как пройти в такой-то переулок или на такую-то площадь? Но людям, изъявляющим притязание на мышление и излагающим свои философствования на бумаге, необходимо разъяснить, в чем собственно заключается та работа мысли, которая в просторечии именуется «отрицанием». Это мы и сделаем.

Когда человек подходит к известному явлению или предмету, то первое и самое естественное его желание заключается в том, чтобы познакомиться не только с наружным его видом, но узнать и внутренние его составные части и качества. Это желание является в нем совсем не по капризу, но или вследствие чувства самосохранения – так как многие предметы и явления могут быть ядовиты и вредны, – или вследствие потребности извлечь из предмета пользу и тем увеличить сумму находящихся в его распоряжении удобств, или, наконец, вследствие потребности более утонченной, побуждающей человека удовлетворять своей любознательности. Возьмем хоть тот же пример о воздухе. Человек замечает, что в одном месте ему дышится легко, в другом – он за-

дышается и страдает; в одном месте свеча у него горит светло, в другом – едва-едва мерцает или совсем гаснет. Это явление уже по тому одному не может не интересовать его, что он от него терпит. Заручившись опытом, вынесенным им прямо из жизни, ценою страдания собственных легких, он невольно приходит к заключению, что воздух не просто воздух, а есть в нем что-то такое, что делает его иным в одном месте и иным – в другом. Вот этот-то первый акт возбужденной человеческой мысли и составляет то, что на улице слывет под именем отрицания. Очевидно, однако ж, что это совсем не отрицание, а именно только первый шаг к познанию истины, и что отрицанием приличнее было бы, напротив того, назвать такой акт человеческой мысли, который упорно отказывается от познания истины, который согласен, чтоб человечество гибло жертвою своего невежества, но отнюдь не выходило из своего *farniente*<sup>2</sup>, отнюдь не смело ударить пальцем о палец. Затем, когда этот первый шаг сделан, начинаются уже действительные исследования составных частей воздуха и тех влияний, которые оказывает преобладание той или другой из них. И чем глубже вдается человек в эти исследования, тем, разумеется, дальше удаляется он от так называемого «отрицания», так что под конец получается уже результат настолько *положительный*, что даже на улице начинают говорить о нем с похвалою, как это и случилось, например, с некоторыми применениями силы и свойств пара.

---

<sup>2</sup> ничегонеделания

Но при этом дело мыслителя нередко усложняется еще побочным обстоятельством, не имеющим прямого отношения к его сущности. Может случиться, что найдутся такие люди, которые будут утверждать, что познание истины есть дело вредное, потому, дескать, что «ум за разум зайдет», или «поспешишь – людей насмешишь», или «много будешь знать – скоро состаришься»; одним словом, что познание одного явления ведет за собою необходимость познания другого, затем третьего и т. д., а так как, дескать, этих явлений бесконечное множество, то лучше и не трогать их, а жить как живется. Тогда этим людям, *отрицающим* необходимость элемента сознательности в человеческом существовании, приходится *доказывать*, что всякая вновь добытая истина непременно должна принести не вред, а пользу, и подтверждать это примерами вроде следующих: Иван, по неведению, наелся незрелых плодов и от того умер; в то же время Петр, знавший, что смерть может произойти от употребления плодов только в таком случае, когда они незрелы или ими объедаются неумеренно, съел точно такое же количество плодов, как и Иван, но зрелых, и остался жив и здоров. Нет никакого сомнения, что такого рода доказательства совершенно необходимы, но нельзя не сознаться, что именно этот-то побочный инцидент мысленного процесса и навлекает на себя преимущественное негодование улицы; ему-то, собственно, и присвоивается название «отрицания». Уличная толпа обижается в этом случае сугубо, пото-

му что здесь предлагается ей не та или другая истина, которую она, взятую без связи с другими истинами, принять по нужде может, а опровергается целое мирозерцание, разрушаются те отношения к жизни, которые заповеданы ей веками. Ясно, что она и не может отнестись к такому действию иначе, как заклеив ей словом «отрицание», но для человека непредубежденного, для человека, поставившего себе задачей не играть словом, а обращаться с ним уважительно, будет-таки совершенно бесспорно, что тут нет никакого отрицания, а есть только *доказательство*.

Таким образом, ясно, что то общее употребление, которое делается из слова «отрицание», есть злоупотребление, которое по обстоятельствам и намерениям лиц, действующих этим оружием, может быть и добросовестным, и недобросовестным. Оно добросовестно, когда эти лица болтают, как говорится, зря, сами не понимая, о чем говорят, и недобросовестно – когда это делается сознательно и преднамеренно. Мы будем говорить только о злоупотреблении добросовестном.

Исходя из того положения, что всякое стремление понять и объяснить явление равносильно отрицанию этого самого явления, добросовестное непонимание законов мышления приходит к результатам весьма сильным. Произвольная и кабалистическая точка зрения не может дать иных выводов, кроме произвольных же и кабалистических. Отсюда, во-первых, «отрицание» начинает именоваться *дерзким*, во-вто-

рых, с ним связывается *оскорбление авторитетов*. Сказать о человеке или о каком-нибудь человеческом действии, что оно дерзкое – значит сказать все, то есть все, что может служить ему во вред. Даже когда какой-нибудь пиита говорит: *дерзаю* петь, *дерзаю* хвалить, то и тут он рекомендует себя как человека строптивного и беспокойного. «Дерзаю петь – это в переводе на обыкновенный язык значит: я, ничтожный и непотребный пиита, я, червь, а не человек, до такой степени возмнил о себе, что из низменности, в которой нахожусь, дерзнул обратить взоры на твое, о солнце, сияние, но ты простишь мою дерзость ради того, что цель ее – похвала. Недаром же рассказывают анекдот, что когда один подчиненный, в разговоре с начальником, то и дело говорил: осмелюсь доложить, осмелюсь заявить, осмелюсь представить на благоусмотрение, – то начальник наконец серьезно обеспокоился этим и приказал смельчаку быть на будущее время скромнее. Из этого видно, какое значение придается слову «дерзкий» на языке общеупотребительном. Но что же общего между этим значением и естественным стремлением человеческой мысли к приобретению знания? Человек хочет учиться, хочет знать, как ему поступить, чтобы не отравиться, не задохнуться или иным образом не пропасть, он не грубит, не забиячит – ведь за это в школах похвальные листы выдают, а вы называете его дерзким! Но вы прибавляете: он не признает авторитетов, но позвольте, скажите, каких именно? Если он не признает авторитета улицы, то очень хорошо делает; если

не признает и других, по-видимому, с большим основанием утвердившихся авторитетов, но ложность или сомнительность которых доказана, то также хорошо делает. А так как вы никаких авторитетов все-таки не называете (проглатываете), то, очевидно, весь спор сводится только на то, учтиво или неучтиво отзывается известный субъект о том или другом авторитете. Но ежели вы добиваетесь только учтивости в отзывах, то мы охотно уступим вам это, но в возврат требуем и от вас такой же учтивости к людям мыслящим и ищущим, которых вы голословно называете дерзкими попирателями авторитетов. Но вы говорите: у Волохова есть новые авторитеты, ничем не проверенные, без имени, без прошедшего, без истории, без прав. Если это авторитеты действительно «ничем не проверенные» – это очень важно. Это значит, что это авторитеты уличные, авторитеты Татьяны Марковны, Тычкова, Ватутина и прочей компании. Слово «проверка» представляет тут такой же плод недоразумения, как и множество прочих слов, употребляемых по неведению. Автор, очевидно, под проверкой авторитета понимает давность его и заключает, что ежели известное правило существует давно, то это значит, что оно достаточно проверено. Но это неверно. Мы на каждом шагу встречаем целые поколения, живущие под гнетом одного и того же предания, и убеждаемся, что предание это предьявляет такую живучесть именно потому, что оно никогда не подвергалось процессу проверки. И живет оно до тех пор, покуда само собой не истощится его

содержание и не перестанет давать людям то, что они до поры до времени от него получали. Так, например, существовало предание, что нужно только кой-как вспахать и взборонать землю и бросить в нее зерно, чтобы затем это зерно принесло все то количество хлеба, какое необходимо на потребу людям. И держалось это предание до тех пор, пока, с одной стороны, не увеличилось народонаселение, а с другой стороны, земля не истощилась до того, что перестала давать удовлетворительные урожаи. Тогда потребовалась проверка предания или авторитета, и оказалось, что хотя это предание жило весьма достаточно, но жило потому только, что не было надобности в его проверке. Следовательно, качество достоверности не составляет неотъемлемой принадлежности старых или новых авторитетов, но есть качество особенное, свидетельствующее, что с прилагательными именами надлежит обращаться с большею разборчивостью, нежели та, с которою обращался повар Ноздрева с ингредиентами стола своего барина.<sup>[14]</sup> Когда Коперник учтивым образом опроверг бывшие до него солнечные системы и взамен их дал новую, то выражение «проверенное», конечно, более приличествовало новой, чем какой-либо из старых систем; это факт, который отрицать нельзя под опасением попасть в число самых отчаянных отрицателей. Затем, если мы обратимся к последующим выражениям той же тирады: «без имени», «без истории», «без прошедшего», «без прав», то легко поймем, что нет даже большой нужды распространяться об них. Можем

прибавить здесь только одно: нет такой новой теории, которая не имела бы своих корней в истории; теории берутся не с печки, а развиваются путем историческим; это до такой степени верно, что даже для такой диковинной теории, как теория безвозвратных денежных займов, можно отыскать некоторые исторические следы. Поэтому и авторитетов «без истории» не существует.

Новая правда! старая правда! последняя «бросается к первой» – первая глумится над последнею! Какая поразительная картина! какое поразительное зрелище великодушия старой правды и неблагодарной закостенелости новой правды! Картина эта, однако ж, существует лишь в воображении талантливом романиста.

Начать с того, что выражение «новая и старая правда» может быть правильно употреблено только по отношению к частным отраслям знания. Но тут, однако, нельзя сказать, что старая правда бросается к новой, а новая глумится над старой, а просто следует сказать, что новая правда, воспользовавшись тем материалом, которым обладала старая правда, и дополнив его новыми наблюдениями, заменила и вытеснила старую правду навсегда. Это будет не столь поэтично, но точно. В этом смысле новая правда астрономии заменила и вытеснила старую правду астрологии. Что касается до общей правды жизни, то она не старая и не новая, а всегда одна и та же, и слагается из тех итогов, которые дает новая правда частных отраслей знания, и той суммы невежества, которую

противопоставляет этой новой правде слишком компактная уличная толпа. Следовательно, тут вся правда заключается в том, что одни стоят на стороне уличной толпы, а другие – на стороне испытующей мысли. Но если и признать первых сторонниками старой правды, а вторых – поборниками правды новой, то и тогда окажется, что взаимные их отношения друг к другу совсем не таковы, как представляет г. Гончаров в написанной им картине. Старая правда не «бросается» к новой, а, напротив того, преследует ее всеми силами, отстаивая свое существование; новая правда не глумится над старой, но употребляет неслыханные усилия, чтобы примирить ее с собою настолько, чтобы, по крайней мере, ей не было сочтено в преступление ее существование. Ужели г. Гончарову неизвестно это? неужели история недостаточно представляет доказательств, что не только так называемые «безумные новаторы», но даже простые труженики-изобретатели всегда проводили жизнь в борьбе с лишениями и нуждой и только от истории получали возмездие за дела свои? Если все это неизвестно из истории, то г. Гончарову стоило только обратиться к собственному своему роману, чтоб убедиться в этом. Этот самый Марк Волохов, которого он представляет новатором, даже не чуждым понятий о срочной любви, – в каком положении он находится? Ужели в лучшем, нежели бабушка Наталья <Татьяна> Марковна, которая теми же преимуществами срочной любви воспользовалась не в качестве новаторки, а в силу любезного уличного правила: хочу

люблю, хочу – нет? Или в лучшем, нежели Райский, который на все роды любви готов, лишь бы они не связывали его, а представляли приятное препровождение времени? Нет, видно, и для Волоховых, несмотря на их детскую несостоятельность, новаторство не дешево достается; видно, и тут «старая» нелепость не очень-то охотно бросается в объятия «новой» ребяческой необдуманности.

Но чем дальше в лес, тем больше дров. Не довольствуясь постановкою обвинения в «дерзком отрицании», г. Гончаров усиливается определить подробнее <признаки?> этого опасного явления. Из этих усилий выходит следующее: если одного общего места мало, то примемся за тавтологию этого общего места; быть может, повторение сделает нашу речь более убедительною.

Однако ж общее место всегда остается общим местом, как бы ни были ядовиты его намерения. Дальнейшее развитие мысли г. Гончарова заключается в том, что Волохов «разложил материю на составные части и думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя», что он «физическими и химическими опытами разрушил бессмертие», что он указывал на какой-то «случайный порядок бытия, где люди толпятся как мошки и исчезают в бестолковом процессе жизни»...

Читаешь и не веришь глазам. Химические опыты и «бессмертие души», разложение материи и «разложение того, что она выражает», толпящиеся мошки и «бестолковый про-

цесс жизни»! Как все это укладывается рядом? как сводятся на очную ставку предметы столь разнородные, не имеющие между собой никаких точек соприкосновения?

Увы, читатель! все это слова, слова и слова! Слова, случайно взятые из лексикона и поставленные рядом по недоразумению. С незапамятных времен производятся физические и химические опыты, с незапамятных времен все усилия испытателей природы направлены к тому, чтобы разложить материю, – и вот оказывается, что все эти усилия имеют секретную цель подкопаться под бессмертие души и уничтожить самую душу! Что делать, скажите, как отворотить эту беду? Запретить ли химические и физические опыты, закрыть ли кафедры естественных наук, общества, съезды естествоиспытателей, или только заставить физиков и химиков, для успокоения подозрительности наших беллетристов, оговариваться, при производстве опытов, что это воистину химические и физические опыты, а не памфлеты, пущенные против бессмертия души? Но ведь тогда невозможны будут никакие лекции; если каждое слово надо будет приправлять оговорками, то, очевидно, даже самая речь человеческая до того загрозоздится вставками, что сделается совершенно непонятною, и по всему лицу земли прекратятся словеса.

Но этого не будет, потому что и физик и химик, производя свои опыты, всего меньше думают о бессмертии души, а думают о тех непосредственных результатах, которые должны выйти из этих опытов. Как не сообразил г. Гончаров, что во-

прос о бессмертии души есть вопрос, принадлежащий к области теологии, остающейся неприкосновенною и совершенно независимою от исследований, делаемых в области естественных наук. Бессмертие души есть догмат, который проповедуется в церквах, а не в химических лабораториях, и это не может быть иначе, потому что в последних он был бы совсем неуместен. Г-на Гончарова, очевидно, ввело в соблазн то, что новейшие физиологи у низших организмов признают душу и что наши ученые переводят трактаты об этом на русский язык;<sup>[15]</sup> но он упустил из виду, что душа, признаваемая у этих животных, есть душа скотская, ни на какое бессмертие не претендующая. Может быть, его соблазнило еще то обстоятельство, что новейшая философия все больше и больше отдает предпочтение антропологическому принципу перед метафизическим и что книжки об этом также переводятся на русский язык;<sup>[16]</sup> но антропология говорит только о том, каким путем достаются человеку ощущения, но до бессмертия души опять-таки не касается. Повторяем, бессмертие души составляет область особую и непререкаемую. Мы знаем множество отличнейших химиков и физиологов, которые весьма неленостно производят опыты над разложением и свойствами материи, но это нисколько не мешает им быть ревностными христианами. Вы скажете, может быть, что это химики благонамеренные, а есть химики неблагонамеренные. Прекрасно. Но так как химические опыты всегда одинаковы, всегда равны себе, то очевидно, что благонамеренность или

неблагонамеренность лиц, занимающихся ими, не имеет никакой необходимой связи с предметом их занятия и зависит совсем не от опытов.

Остановить производство опытов нельзя; вы сами будете протестовать против этого, потому что, без этих предварительных опытов, случись вам быть больным, нельзя будет разгадать свойства вашего недуга, нельзя будет указать средства для его исцеления. О чем же, собственно, идет речь? О том ли, что Волохов имел минуту ребяческого удовольствия сказать, что он химик и в этом качестве не признает бессмертия души? С охотой уступаем ему эту минуту, но все-таки не можем признать за ним качеств типа, потому что слова его или, лучше сказать, слова, сказанные за него г. Гончаровым, составляют только случайную и ничем не подкрепленную выходку, которая ни в каком художественном произведении основанием для создания типа служить не может.

Агитирует Волохов, в обществе Веры и попадьи, против бессмертия души и в жару агитации забывает, что есть вопрос гораздо более простой и гораздо более близкий: вопрос о том положении, в котором он сам находится, и находится, конечно, не по своей воле. Мало того: в жару агитации он употребляет слова не в собственном их значении. Он говорит о толпящихся мошках и называет это «бестолковым процессом жизни»! Этот физиолог, химик и физик не понимает даже, что такой процесс жизни для мошек есть, напротив, самый толковый; для человека же он тоже небестолков, по

той причине, что невозможен. Можно, конечно, себе представить уличную толпу, кружащуюся, подобно мошкаре, на солнечной стороне Невского проспекта, но нельзя сказать, чтоб это кружение могло сделаться жизненным законом даже для толпы самой малосмысленной.

Но самый любопытный обвинительный пункт против Волохова заключается, конечно, в том, что он требовал честности, правды и добра в жизни и за это ничего не обещал. Как мы ни усиливаемся угадать, что бы такое мог обещать Волохов за честность и правду, – угадать не можем. Мы склоняемся к тому убеждению, что в его положении он не мог обещать даже годового оклада жалованья. Располагал ли он не только вечностью, которою никому из смертных располагать не дано, но даже самомалейшим правом обещать что-нибудь в будущем? Нет, потому что вечность и награды в будущей жизни может давать только учение, называемое откровением. Он был скромен; он понимал, что есть сферы, за пределы которых переступать человеку нельзя, – он и не переступал. Он требовал, говорите вы, честности, правды и добра в жизни; но ведь это все, чего он имел право требовать, ибо то остальное, о чем вы беседуете, прилагается само собою, как естественное последствие честной или бесчестной жизни, доброй или злой. Вот Вера – та мыслит на этот счет посolidнее. Она в особенности думает о наградах и даже, по-видимому, знает, когда они даются, ибо говорит о чем-то таком, что заставляет человека работать над собою, чтобы

именно *к концу жизни* стать лучше и правдивее. Однако, по нашему мнению, она думает так ошибочно. Действительно, есть нечто такое, что заставляет человека работать над собою, чтобы сделаться честным, добрым и правдивым, но не только *к концу жизни*, а в продолжение всей жизни. Следуя теории Веры, можно попасть в большой просак; ибо известно, что бог в смерти и животе человека волен, и конца жизни никто определить не может; стало быть, если нравственное очищение готовить только как закуску к концу жизни, то можно пропустить удобную минуту и умереть неочищенным и непросветленным Мы думаем даже, что теория Веры во всяком случае безнравственнее, нежели теория Волохова; она напоминает раскольничий догмат: *несогрешивший не спасется*, на основании которого человеку предоставляется делать всякие нравственные безобразия в чаянии замолить их. Мы с охотой соглашаемся, что молитва очищает, но ежели ее цель корыстна, если она повторяется только при известных и всегда однородных условиях, то становится обрядом, лишенным внутреннего значения. Затем наступает то *неистовое маханье*, которому религия не только не придает значения добродетели и подвига, но даже преследует.

Таким образом, выходит, что г. Гончаров, желая раскрыть перед читателями некоторые стремления современности, желая ввести их в область того *неверного*, которое, по мнению его, царит над этими стремлениями, не пошел дальше области *недозволенного*, которую и смешал с неверным.

Это и понятно, потому что признаки *неверного* очень сложны и, во всяком случае, не так легко достаются, как признаки *недозволенного*. Но замечательнее всего, что даже эту последнюю область (достаточно, впрочем, обширную) автор сумел запутать разными соображениями Веры, которые, во всяком случае, ни для кого не обязательны. Можно до известной степени понять (хотя и трудно), что общество недоверчиво смотрит на химические и физические опыты, на разложение материи, что оно видит в этом «дерзкое отрицание всего, от начала до конца», и, следовательно, не слишком поощряет подобного рода занятия; но что касается до того, как думает об этом кузина г. Райского и каких она ждет для себя от того последствий, – никому в голову не придет и справляться об этом. Область *недозволенного* достаточно велика, но *она* определена, и это, по крайней мере, избавляет от недоразумений тех, которые имеют надобность справляться с нею. Она не запрещает производство химических и физических опытов, она допускает разложение материи – вот все, что нужно знать. Никто, ни даже хорошенькая Вера, не вправе инсинуировать, что за физическими и химическими опытами скрывается разрушение чего-либо другого, а не невежества. Это не ее ума дело.

Но если стремление к познанию сил и свойств природы, стремление ввести в жизнь элемент сознательности может привести только к гибели, то что же, по крайней мере, может, по мнению Веры, спасти нас от оной? А вот что: проч-

ное, живое и верное, заключающееся в старой жизни. Напрасно вы будете искать истолкования этих слов – в ответ вы получите те же слова или бесконечную перестановку их: что такое прочное? – это живое и верное; что такое живое? – это прочное и верное; что такое верное? – это прочное и живое. Почему одно прилагательное поставлено прежде, другое – после?

Темно всюду, глухо всюду.

Быть тут чуду, быть тут чуду!<sup>[17]</sup>

Однако ж не только чуду, но даже и самого простого указания нет. Взгляните на всех этих людей, которые противопоставлены Волохову (он сам их же поля ягода; но так как автору непременно хочется сделать из него демоническую силу, то мы невольно подчиняемся его намерению), и вы увидите, что нет ничего более непрочного, ничего более пораженного мертвенностью, более неверного, нежели их жизнь. Это даже не жизнь, а колеблющиеся шаги или ползание младенца. Бабушка ползает, Ватутин ползает, Райский ползает – все ползают, все щупают наугад и, нащупавши тряпицу, выброшенную людьми сороковых годов, воображают, что эта тряпица причина всех их несчастий. А несчастье их в том-то именно и заключается, что они ничего не видят, ничего не сознают, что их действия без начала и без конца, что они никогда не знают, куда идут и для чего предпринимают то

или другое действие. Эту ли жизнь можно назвать прочною, живую и верною?

Но примиримся со словами; допустим, что пустой звук может иметь значение, что такие выражения, как «прочное», «живое» и «верное», могут нравиться сами по себе. Но ведь надобно же наполнить их каким-нибудь определенным содержанием? Каким же? – На это мы ответим: сознательным отношением к природе и жизни, стремлением раскрыть законы, управляющие ими, и умением воспользоваться этими открытиями. Вот единственный выход из области ползания и ощупывания и единственный способ найти «прочное», «живое» и «верное».

Защита невежества – вещь очень легкая и всегда сочувственная уличной толпе, но не думаем, чтоб мы находились в таком положении, когда подобная защита может считаться даже временно полезною. Везде она приносит только вред и может найти себе оправдание лишь в глазах очень близорукых людей; но у нас она принесет вред сугубый. Мы так недалеко ушли от воззрений «голубиной книги»; в нашей уличной статистике числится еще такое множество «пугов земли», что чуть ли не каждая губерния считает себя обладательницей своего собственного «пупа»; притом мы с такою неохотой расстаемся с воззрениями, завещанными нам преданием, с таким принуждением пристаем ко всему, что будит нашу мысль, что, право, больше нежели странно укорять нас в какой-то разнузданности, в каком-то стремлении нис-

провергать кумиры и разрушать предания. Бросать камень в людей за то только, что они *ищут*, за то, что они хотят стать на дороге познания, за то, что они *учатся*, и бросать этот камень, не дав себе даже предварительного отчета, в чем заключается сущность стремлений этих людей, – вот подвиг, которого неловкость и несвоевременность, по нашему мнению, не может подлежать спору.

К сожалению, такого рода неловкий и несвоевременный подвиг совершил г. Гончаров своим романом «Обрыв».

## Примечания

Впервые – *ОЗ*, 1869, № 6, отд. «Совр. обозрение», стр. 127–159 (вып. в свет – 5 июня). Без подписи. Авторство Салтыкова указано, без аргументации, А. В. Мезьер («Русская словесность с XI по XIX столетие включ.», ч. II, СПб. 1902, стр. 74), подтверждено на основании письма Салтыкова к Н. А. Некрасову от 22 мая 1869 г. В. Е. Евгеньевым-Максимовым («Печать и революция», 1927, кн. 4, стр. 58).

Статья представляет собой одно из значительных выступлений Салтыкова в защиту революционной молодежи от так называемой «антинигилистической» критики; была отмечена цензурой в годовом обзоре как «предосудительная» и как характеризующая направление «Отечественных записок» (*ЛН*, т. 51–52, М. 1949, стр. 360–362).

Так как изображение «нового человека» – Марка Волохова – в романе Гончарова «Обрыв», по существу, смыкалось с тем представлением о революционерах, которое насаждала «антинигилистическая» литература, Салтыков посвятил свою статью преимущественно этой теме. В письме к Некрасову 22 мая 1869 г. Салтыков сообщал, что написал статью «по поводу «Обрыва», то есть не касаясь собственно романа, а философии Гончарова».

Речь в статье идет о трех основных проблемах, решение которых объясняет салтыковскую оценку произведения Гон-

чарова: 1) об отношении творчества писателя к его мировоззрению, 2) об отношении общества к прогрессу, в частности – к развитию передовой философской и естественнонаучной мысли, 3) о роли крупнейших литераторов 40-х годов в современном общественном движении.

Салтыков восстает против «ходячего учения» о будто бы индифферентной по отношению к мирозерцанию силе художественности: «...интерес беллетристического произведения, при равных художественных силах, всегда пропорционален степени умственного развития автора». «Литература и пропаганда – одно и то же». В неясности идейной позиции, в «добросовестном заблуждении» видит Салтыков главную причину творческой неудачи Гончарова. Не будучи глубоким мыслителем, Гончаров, по мнению критика, в прежних своих произведениях сохранял необходимый такт, позволявший ему, талантливому художнику, оставаться в рамках «преданий сороковых годов». Автору «Обрыва» изменил этот такт, его вторжение в область философии оказалось несостоятельным. Его Волохов – воплощение примитивного «бытового нигилизма» – преподносится читателю как некий «доктринодержатель», идеолог передовой молодежи.

Эволюция Гончарова, по мнению Салтыкова, отражает определенную закономерность в творческой судьбе ряда выдающихся литераторов 40-х годов: «решившись знакомить публику с своим мирозерцанием, все известнейшие русские беллетристы высказали взгляды совершенно однород-

ные, все стали на сторону уличной морали, на сторону заповеданного, общепринятого и установившегося, против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего» (имеются в виду, очевидно, прежде всего Писемский, автор «Взбаламученного моря», отчасти Тургенев, Достоевский и теперь – Гончаров). Высоко оценивая историческую роль людей 40-х годов, вождем которых был Белинский, Салтыков, сам представитель этой славной плеяды русских литераторов, зовет их продолжить начатое великое дело в новых исторических условиях. Салтыков с горечью отмечает, что у большинства деятелей 40-х годов на такой подвиг не хватило ни подготовки, ни решимости, но что именно так «поступили бы те знаменитые покойники» (то есть Белинский и Грановский).

Салтыков не упоминает об авторском предисловии к роману «Обрыв», хотя оно могло бы служить подтверждением его мысли о серьезных переменах, происшедших в сознании писателя. Гончаров признавался, что в первоначальном замысле «Обрыва», относящемся к середине 50-х годов, образ Марка Волохова-нигилиста отсутствовал, что его появление связано с более поздним временем («Вестник Европы», 1869, кн. 1, стр. 5–6).

Анализ рассуждений и поступков Марка Волохова дает возможность Салтыкову всесторонне обосновать главный тезис – изображение «новых людей» в романе Гончарова свидетельствует об антиисторическом, консервативном взгляде на действительность, о защите обывательской,

«уличной» философии. Эзоповский образ «улицы», стихийно-консервативной, приверженной к существующему порядку вещей, освященному традицией, широко используется в эти годы и Салтыковым, и другими публицистами «Отечественных записок» (см., например, статьи «Напрасные опасения», «Насущные потребности литературы», рецензию на роман Омулевского «Шаг за шагом» и др.).

«Улица» – это мир примитивных, обывательских представлений, понятий, перевернутых наизнанку. Обличая этот мир, Салтыков возвращает понятиям их подлинное содержание. Так, название «отрицателей», которым консервативная печать бранит критически настроенную молодежь (нигилистов), он адресуется самим охранителям порядка: «...первый акт возбужденной человеческой мысли и составляет то, что на улице слывет под именем отрицания. Очевидно, однако ж, что это совсем не отрицание, а именно только первый шаг к познанию истины, и что отрицанием приличнее было бы, напротив тою, назвать такой акт человеческой мысли, который упорно отказывается от познания истины, который согласен, чтоб человечество гибло жертвою своего невежества...». Эти рассуждения Салтыкова предвосхищают его, полный глубокого революционного смысла, парадокс в пятой главе «Итогов», написанной спустя два года и запрещенной цензурой. За это время произошло много перемен, европейская реакция торжествовала победу над парижскими коммунарами, в России готовился судебный процесс по

«нечаевскому делу», в связи с чем «уличная» пресса огульно нападала на всю передовую молодежь – «отрицателей» и «анархистов». И вот автор «Итогов» неожиданно называет анархистами... апологетов застоя: Не справедливо ли будет, если мы назовем «анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает...» (см. наст. изд., т. 7). И далее, там же: анархия-то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Возникает салтыковский термин «анархия успокоения», который определяет социально-политическую почву «уличной философии».

По мнению Салтыкова, Волохов показан с позиций этой именно философии, отождествляющей область недозволенного с областью неверного. Несостоятельность Волохова как борца за передовые идеи Салтыков подчеркнул впоследствии с новой сатирической остротой: в очерке «Помпадур борьбы или проказы будущего» (1873) помпадурша Анна Григорьевна Волшебнова сообщает Феденьке Кротикову, что Волохов стал преданным человеком «– Я знаю это и не раз об этом думал, душа моя!» – отзывается помпадур. «Но Волохов еще так недавно сделался консерватором, что не успел заслужить полного доверия. Не моего, конечно, – я искренно верю его раскаянию! – но доверия общества.» (см. т. 8, стр. 184–185).

Псевдогероям вроде Волохова Салтыков противопостав-

лял в своей статье цельную натуру героя из романа Фр. Шпильгагена «Один в поле не воин», и как бы в подтверждение и разъяснение этой мысли рядом с «Уличной философией» была помещена статья М. К. Цебриковой «Женские типы Шпильгагена» (по романам «Загадочные натуры» и «Из мрака к свету»).

Гончаров с раздражением реагировал на статью «Уличная философия» в двух письмах к С. А. Никитенко. Писатель не пытался проникнуть в существо спора. «Говорят, в «Отечественных записках» появилась ругательная статья «Уличная философия» на мою книгу. Буренин ли написал ее или сам Щедрин, который все проповедовал, что писать изящно – глупо, а надо писать, как он, *слюнями бешеной собаки*... – и все из того, чтоб быть первым!»<sup>3</sup> И несколько позднее: «Если статью в «Отечественных записках» подписал не Скабичевский, то ее писал Щедрин, то есть Салтыков. А этот господин ровно ничего не понимает в художественной сфере... Он карал и казнил город Глупов, чиновный люд, взяточников-генералов – и, играя на одной струне, других не признает, требуя, чтобы в литературе все ругались только, как он»<sup>4</sup>.

Вскоре, в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1869 г., появилась большая статья А. М. Скабичевского об «Обрыве» – «Старая правда». Развивая один из тезисов Салтыкова, критик писал, что Гончаров «увлекся желани-

---

<sup>3</sup> Л. Утевский. Жизнь Гончарова, М. 1931, стр. 210.

<sup>4</sup> Л. Г. Цейтлин. И. А. Гончаров, изд-во АН СССР, М. 1950. стр. 275–276

ем попробовать свои силы на чуждой ему почве, и перестал быть поэтом». Критик ссылается на предисловие к роману, где речь идет о давнишнем замысле произведения и новых лицах, и полемизирует с таким творческим методом. Считая изображение старого мира большой удачей Гончарова, Скабичевский находит, что образы «Веры, и в особенности Волохова, полны несообразностей и противоречий». Стремясь представить Веру титанической натурой, автор, по мнению Скабичевского, подчас рисует ее «нервной, чувствительной и слабой барышней». Эту тему продолжила Цебрикова в статье «Псевдоновая героиня» (1870, № 5).

Значительно более резко, но, по существу, в том же направлении критиковали «Обрыв» публицисты журнала «Дело». Сюда относится прежде всего известная статья Н. В. Шелгунова «Талантливая бесталанность» (1869, № 8) и «Новые романы старых романистов» С. С. Окрейца (1869, № 9).

Даже в журнале, напечатавшем роман Гончарова, – «Вестнике Европы», – в статье Е. И. Утина «Литературные споры нашего времени» (1869, № 11) говорилось: «Вместе с законченной ролью Лаврецких, Бельтовых, Рудиных и их последним словом Обломовым <этим мастерским типом, этой славой Гончарова>, закончилась, собственно говоря, и прежняя роль писателей старого направления. <...> Очевидно только, что, изображая молодое поколение в <...> грубой фигуре Марка Волохова, писатели старшего возраста показали, что они имеют мало общего с стремлениями людей новых идей

и что они значительно потеряли то чутье, которое прежде не допускало их рисовать ни одного фантастического типа. Так или иначе, старые типы износились, исчерпаны, прежняя роль старых писателей выполнена, и для русской литературы уже несколько лет как наступила новая эпоха».

Среди многих статей, посвященных «Обрыву», хронологически ранней и наиболее глубокой по смыслу была салтыковская «Уличная философия», в которой критик горячо отстаивал общественные и эстетические убеждения революционной демократии.

# Комментарии

1.

...в таком философском трактате, как, например, «голубиная книга». – См. прим. к стр. 19.

2.

...литературою легкого поведения... – Намек на статью М. А. Антоновича «Литературное лицемерие «Отечественных записок». Вопрос, представляемый на разрешение легкой литературе» («Космос», 1869, № 4). Подробно о позиции Антоновича и причинах его нападков на «Отеч. записки» см. в рецензии Салтыкова на «Материалы для характеристики современной русской литературы»

3.

...это будет выполнено в одной из ближайших книжек нашего журнала. – В октябрьской книжке «Отечественных записок» за 1869 г. напечатана статья Скабичевского «Старая правда».

4.

Благочестивые живописцы... избегают всего, что могло бы напомнить о человеческом образе при взгляде на эту отверженную фигуру. – Свою интерпретацию евангельской легенды об Иуде Салтыков дал в ноябрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г. (текст этот не был

пропущен в печать).

**5.**

...образцы которых мы видели у гг. Стебницкого и Авенариуса, не говоря уже о г. Писемском... – Речь идет об «антинигилистических» романах Н. С. Лескова (псевд. М. Стебницкий) «Некуда» (1864), А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1864) и повестях В. П. Авенариуса «Современная идиллия» (1865) и «Поветрие» (1867), изданных вместе под названием «Бродящие силы» (1867).

**6.**

...всякого рода киниками... – Возможно, имеется в виду персонаж из «Взбаламученного моря» – Иона-киник.

**7.**

Шекспировский Фальстаф – известный персонаж из пьес Шекспира («Хроника короля Генриха IV», «Виндзорские проказницы»)

**8.**

...устраивает ассоциацию работников, становится во главе социального и политического движения... – Об отношении Салтыкова к «ассоциациям работников» (то есть рабочих) см. в наст. томе рецензию на кн. «Задельная плата и кооперативные ассоциации» Жюля Мура и комментарий к

ней.

## 9.

Люди порядочные и в врагах своих видят людей порядочных... – Намек на выступление Антоновича и Жуковского против Некрасова, Елисеева и самого Салтыкова (см. рецензию Салтыкова «Материалы для характеристики современной русской литературы»).

## 10.

...по роману Ключникова «Мареву». – Отрицательную оценку этого романа, опубликованного в «Русском вестнике» (1864, № 2–3, 5) Салтыков дал в хронике «Наша общественная жизнь» (С, 1864, № 3). См. наст. изд., т. 6, стр. 315–321. Критике «Марева» посвящена статья Писарева «Сердитое бессилие» («Русское слово», 1865, № 2).

## 11.

...в недавней повести Гл. Успенского «Разорение». – Серия очерков Г. И. Успенского «Разоренья». Высоко оценивая многие сцены «Разоренья», Плеханов (в статье «Гл. И. Успенский») замечал, что иногда главный герой играет «роль какого-то Чацкого из рабочих».

## 12.

Самый процесс жизни и т. д. – Курсив в цитатах из «Обрыва»

езде принадлежит Салтыкову.

### 13.

...так ты, значит, отрицаешь всё! – По-видимому, Салтыков напоминает здесь читателю спор Базарова с Павлом Кирсановым: «– Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров – В теперешнее время полезнее всего отрицание, – мы отрицаем. – Всё? – Всё. – Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить... – Всё, – с невыразимым спокойствием повторил Базаров» («Отцы и дети», глава X).

### 14.

...с прилагательными именами надлежит обращаться с большею разборчивостью, нежели та, с которою обращался повар Ноздрева с ингредиентами стола своего барина. – «Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни, – пишет Гоголь, – блюда не играли большой роли; кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец – он сыпал перец, капуста ли попала – совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет» («Мертвые души», т. 1, глава IV).

## 15.

...что новейшие физиологи у низших организмов признают душу и что наши ученые переводят трактаты об этом на русский язык... – Большой популярностью в те годы у передовых русских биологов и медиков пользовались труды выдающегося французского ученого Клода Бернара, который был основателем экспериментальной физиологии. В русском переводе вышли: «Введение к изучению опытной медицины» (1866), «Лекции физиологии и патологии нервной системы» (1866–1867), «Курс общей физиологии. Свойства живых тканей» (1867) и др. М. А. Антонович начал переводить большой труд К. Бернара «Курс общей физиологии. Жизненные явления, общие животным и растениям». Хотя по своему прямому значению слова Салтыкова имеют в виду такие переводы, мысль критика в этой эзоповской форме обращается к событиям более важным для развития русской науки. 60-е годы были временем, когда вышли в свет работы И. М. Сеченова, составившие эпоху в отечественной и мировой науке. Психофизиологический трактат Сеченова «Рефлексы головного мозга» появился в 1863 г. в «Медицинском вестнике». Сеченов доказывал, что явления сознательной и бессознательной жизни по природе своей – рефлексы. Первоначально автор предполагал напечатать эту свою работу под названием «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы» в «Современнике»,

поскольку мировоззрение воинствующего материалиста объединяло его с органом революционной демократии. Однако цензура разрешила печатать трактат только в специальном журнале и под другим заглавием. На отдельное издание «Рефлексов головного мозга» в 1866 г. был наложен арест. Стоял вопрос о привлечении автора, «философа нигилизма», к судебной ответственности. В 1863 г. Сеченов опубликовал новый труд – «Исследование центров, задерживающих отражение движения в мозгу лягушки», в 1866 г. – «Физиологию нервной системы».

## 16.

...что новейшая философия все больше и больше отдает предпочтения антропологическому принципу и что книжки об этом также переводятся на русский язык... – Первый русский перевод книги основоположника «антропологического принципа» Л. Фейербаха вышел в Лондоне в 1861 г. (перевод П. Н. Рыбникова), но еще задолго до того, начиная с 40-х годов этот манифест материализма оказывал громадное революционизирующее влияние на деятелей русского освободительного движения. В 1860 г. последователь и продолжатель Фейербаха Чернышевский напечатал свою работу «Антропологический принцип в философии» («Современник», IV» 4–5), о чем, судя по контексту, и напоминает Салтыков. Имена Чернышевского и Сеченова были знаменем русской революционной

молодежи, и то, что автор статьи «Уличная философия» ставил их рядом, вряд ли укрылось от взора внимательного современника.

**17.**

Темно всюду, глухо всюду. Быть тут чуду, быть тут чуду! –  
Несколько измененная цитата из второй части поэмы А.  
Мицкевича «Дзяды».